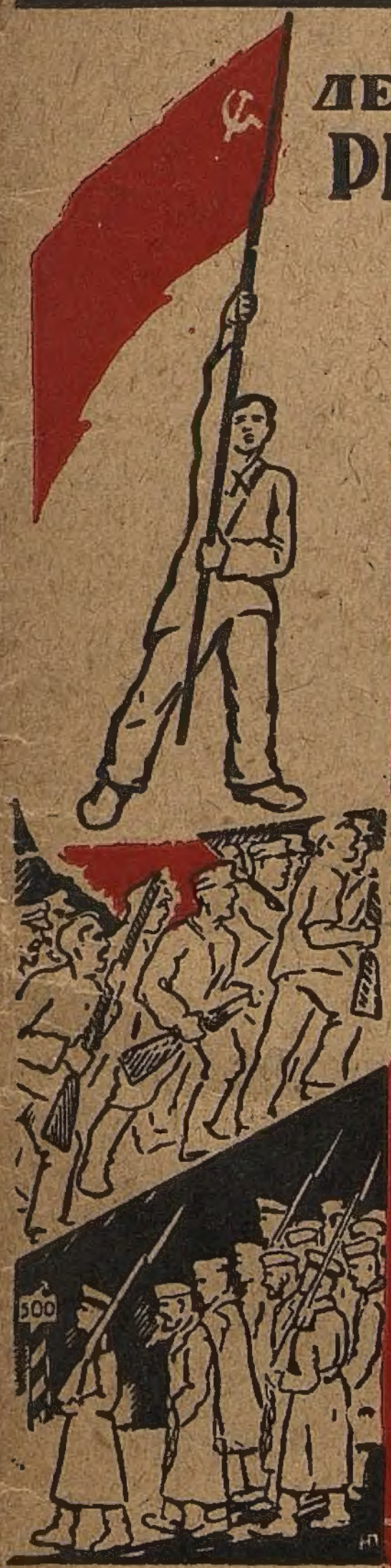

ДЕШЕВАЯ ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Б. БРЕСЛАВ

ТРИ ДНЯ ФЕВРАЛЯ 1917 ГОДА

ГИ 46
Б 893

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТКАТОРЖАН
1934

ДЕШЕВАЯ
ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Под общей редакцией И. А. Теодоровича

1934 № 10

ГИ46
Б823 Р

Б. БРЕСЛАВ

ТРИ ДНЯ ФЕВРАЛЯ 1917 ГОДА

2-й экз.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ
МОСКВА

Б
П
1944

ДЕШЕВАЯ
ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

1934 г. № 10 (404)

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2008

ГИ46
Б823 Р

ИЛ

34030
17463 У
17463
3/5

Ответственн. редактор И. Кириевский
Техн. редактор М. Масляненко
Поступило в набор 10|XI—34 г.
Подписано к печати 10|XII—34 г.
Печ. л. $1^3/_4$. 60 тыс. зн. в 1 п. л.
Формат 72×105 $^1/_{32}$
Тираж 20 000 экз.
Уполн. Главлита Б 99296
Изд. № 84.
Типо-литография им. Воровского,
Москва, ул. Дзержинского, 18. Н. 675

ИЗ ТЮРЕМНЫХ НАСТРОЕНИЙ ПЕРЕД ФЕВРАЛЕМ 1917 ГОДА

Семнадцатый год пришлось встречать на каторге, в Московской Бутырской тюрьме. Шел уже третий год небывалой до того по своим размерам «мировой», как ее тогда называли, империалистической войны, подготовленной и затеянной крупнейшими империалистическими хищниками, за новый передел мира: между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией — с одной стороны, Англией, Францией, царской Россией, Италией — с другой.

Конца этой войне в начале 1917 года еще не было видно, она даже втягивала в свою орбиту новые и новые народы. США только собирались вступить в эту войну на стороне англо-русско-французской коалиции, усиливая одну из воевавших сторон. Вступление в войну Америки в начале 1917 года, подымая шансы на окончательную победу одной коалиции держав над другой, должно было привести к неминуемому затягиванию этой ужасной бойни, так как силы обеих воевавших сторон тогда еще далеко не иссякли и перевес сил какой-либо из них еще не определился.

Обе воюющие империалистические коалиции поставили под ружье десятки миллионов солдат. Почти все трудоспособное население — лучшие силы трудящихся масс — богатейших стран мира, при помощи лучшей техники и всех веками накопленных средств, взаимно друг друга истребляли ради наживы, обогащения своих капиталистов. Война велась ради получения капиталистами возможности порабощать, угнетать и эксплоатировать новые и новые миллионы трудящихся других,

более слабых, особенно колониальных и полуколониальных, стран; ради усиления экономической мощи и политического господства буржуазии над трудящимися массами каждой воевавшей страны.

Для всех, кто хотел видеть, было ясно, что если война не приведет к пролетарской революции и окончится победой одной из империалистических клик, то расплачиваться за нее, за все ее материальные и моральные разрушения будет ряд поколений рабочих и крестьян каждой страны — как стран победительниц, так и стран побежденных.

Рабочее движение во всех воевавших странах с самого начала войны было подавлено обстановкой военного времени и предано вождями партий II Интернационала. Крупнейшие и наилучшие организованные партии того времени, как, например, германская социал-демократия с ее миллионом членов и большими материальными ресурсами, благодаря измене руководства, социально подкупленных, приспособившихся к буржуазному строю их вождей, а также подкупленной и разложившейся их рабочей верхушки, не оправдали возлагавшихся на них революционных надежд. Они не выдержали первого серьезного испытания, позорно изменили делу рабочего класса, предали свой класс. Каждая из этих партий поплелась за своей буржуазией, пошла защищать ее интересы, ее отечество, отказавшись от классовой борьбы и призывая рабочих к классовому миру.

Вожди всех партий II Интернационала, изменив делу рабочего класса, в каждой стране пошли на сделку со своей буржуазией, вступали в ее министерства, сами проводили на практике ничем не прикрытую грабительскую политику своей империалистической буржуазии. Международная связь пролетариата была разорвана, его международной организации — II Интернационала — фактически не стало. Вместо международной солидарности пролетариата вожди II Интерна-

ционала на практике проповедывали рабочим своей страны мелкобуржуазный национализм — вражду к рабочим и крестьянам другой страны, звали рабочих каждой страны защищать отечество и интересы своей буржуазии в ее борьбе с такой же грабительской буржуазией других стран. Только небольшие группки и отдельные, лучшие представители рабочего класса во всех странах, и особенно у нас, в России, во главе с Лениным, остались и в это тяжелое время верными делу рабочего класса, в силу чего они везде порывали со II Интернационалом и его партиями.

Сведения об этих группках и лучших представителях рабочего класса во всем мире и у нас, об их оценке нового положения, созданного войной, с точки зрения интересов рабочего класса, об их отношении к этой войне в их собственном изложении, а не в изложении империалистической печати, — такие сведения к нам в тюрьму, на каторгу, проникали крайне редко. Особенно слабо доходили сведения в одиночный корпус, где многие из нас содержались все время. О шовинистическом угаре, охватившем интеллигенцию и часть рабочих, мы знали много даже в преувеличенном виде. Об этом тюремное начальство старалось. Нам даже вскоре после объявления войны разрешили выписывать одну из двух газет — «Правительственный вестник» или «Русский инвалид». Но мы крайне мало знали о росте в широких массах недовольства войной и лишениями, ею вызванными. О росте революционного движения или брожения среди рабочих и солдат в тылу и на фронте, о том, что шовинистический угар начинает в массах проходить, — обо всем этом мы почти ничего не знали на каторге, если не считать намеков, содержавшихся в письмах, прошедших также официально цензуру.

По тем сведениям, которые мы черпали из разрешенных нам к чтению двух правительственных и из

неразрешенных буржуазных газет, которые к нам иногда, хотя крайне редко, нелегально попадали, даже при тех поправках, которые мы в эти сведения вносили, можно было полагать, что волна мелкобуржуазного патриотизма — лозунг «защиты отечества»—настолько сильно захлестнула революционное рабочее движение, что о каком-либо серьезном движении масс, особенно против войны и против ее виновников, во время самой войны, в самом ее разгаре нельзя было думать.

Я помню, как нас, группу каторжан-большевиков, содержавшихся в одиночном корпусе Бутырской тюрьмы, радостно поразил следующий случай.

В январе 1916 года, по дороге в административную ссылку, через Бутырскую тюрьму проходил Смирнов. Его поместили на несколько дней в соседнюю с моей одиночку. Мы, конечно, сразу стали переговариваться «по стуку» — почти единственному способу сообщения в тюрьме.

На мой вопрос:

— Что делается на воле, как долго будет тянуться кошмарная война и патриотическая вакханалия?

Он мне ответил:

— Есть довольно много оснований полагать, что недолго это положение будет длиться: весною или летом обязательно вспыхнет революция.

— Неужели вы думаете, что теперь, когда массы поголовно охвачены патриотизмом, можно ожидать такого сильного революционного движения? — спросил я снова. — Как-то не верится, одно с другим не вяжется.

— Вы тут очень плохо осведомлены. Неподготовленность России к такой большой и напряженной войне, ее постоянные поражения на фронте, хозяйственная разруха, голод и нищета в тылу революционизируют широчайшие массы быстрее, чем можно было предполагать, — был снова ответ.

Эта оценка положения вещей в стране, данная че-

ловеком, недавно пришедшим с воли и вращавшимся в массах, в их гуще, была первой серьезной поправкой, внесенной в наши обычные тюремные сведения.

Тяжелое это было время. Особенно тяжело было сидеть в тюрьме, быть обреченным на вынужденную бездеятельность в такой исключительный исторический момент.

Тяжелые условия каторги усугубились всей военной обстановкой и эпидемией шовинизма, проникшего даже к нам, в тюрьму, в среду политической каторги.

Задолго до того, как до нас дошли сведения об отношении к войне различных политических партий в России и за границей, война с самого начала, как и на воле, расколола политическую каторгу на два глубоко враждебных лагеря: на лагерь «оборонцев» и лагерь «пораженцев». Социалисты-революционеры и с.-д.-меньшевики полностью, анархисты и эксисты в своем огромном большинстве были оборонцами; большевики же, за небольшими исключениями, — к сожалению, такие исключения имели место, — были пораженцами. В тюрьме были, примерно, те же политические течения, которые мы по освобождении застали на воле. Это показывает, что раскол политической каторги (не только одной каторги) на оборонцев и пораженцев не был случайностью и не определялся индивидуальными качествами тех и других. Он был подготовлен предыдущим развитием и всей идеологией соответствующих политических партий, результатом классовой природы этих партий, соответственно воспитывавших свои кадры. На каторге ведь были кадры подпольных политических партий России того времени, партий, сложившихся в предшествовавший двадцатипятилетний период, имевших позади себя не только опыт западноевропейского рабочего движения, но и полувековой опыт революционного движения в России. Представители революционного марксизма — пролетарской пар-

тии, большевики, оказались «пораженцами», представители мелкобуржуазных партий, как народнического и анархистского, так и псевдо-марксистского толков, оказались «оборонцами». Это ясное размежевание политических партий в России по важнейшему вопросу момента не было случайностью.

Уже в тюрьме мы заметили, что термины «оборонцы» и «пораженцы» не отражали и не определяли действительного значения и глубины расхождений обоих, вновь сложившихся в русской действительности — на почве отношения к войне — политических течений. Действительная политическая физиономия оборонцев всех мастей не определялась тем, что они были за оборону отечества в грабительской войне двух империалистических коалиций, при существовании царизма в России — «самого реакционного и варварского правительства в Европе» (Ленин). Точно так же действительная политическая физиономия и пораженцев не определялась тем, что они были за поражение своей буржуазии, своего правительства, в данном случае— царизма в данной империалистической войне. Между нами, пораженцами и оборонцами, уже в тюрьме стала намечаться та пропасть, которая в своем логическом развитии неминуемо должна была поставить нас по двум противоположным сторонам баррикады, что и случилось в действительности в октябре 1917 года.

Ставя себе задачу защиты отечества в той войне, которую вел царизм в интересах русской буржуазии и русских помещиков, оборонцы должны были делать все, чтобы царизм совместно с буржуазией и помещиками мог успешно вести эту войну. Эта позиция обязывала оборонцев к активной поддержке царизма. Она заставляла их требовать от рабочих прекращения классовой борьбы. Позиция оборонцев обязывала их поддерживать царизм, буржуазию и помещиков в их борьбе с рабочим классом и крестьянством хотя бы на вре-

мя войны под лозунгом защиты отечества. И Плеханов был последователен с своей точки зрения оборонца, когда он в нью-йоркской газете «Свободное слово» до Февральской революции писал:

«...Само собою разумеется, что мы должны отвергнуть, как неразумную—скажу больше, как безумную—всякую вспышку и всякую стачку, способную ослабить силу сопротивления России неприятельскому нашествию. Чтобы понять это, вовсе не надо обладать стальной логикой» (цитирую по «Правде» № 16 от 5 апреля 1917 г.). Это должно было привести оборонцев к тому, чтобы и самим вести активную борьбу с рабочим классом, если он будет бастовать или восставать и силою отстаивать свои классовые интересы. Это должно было привести оборонцев к борьбе с крестьянством, если бы оно стало восставать против гнета помещиков и помещичьего государства, если бы оно стало бороться «за землю и волю», ибо эта борьба рабочих и крестьян мешала царизму, буржуазии и помещикам вести успешно войну, войну, из которой русский царизм и русская буржуазия, по желанию оборонцев, должны были выйти победителями. Коротко говоря. это означало, что оборонцы по существу становились явно контрреволюционной партией. На практике, в ходе развития революции 1917 года, эта теория полностью оправдалась. До тех пор, пока массы шли за ними, оборонцы болтали о защите отечества и революционных завоеваний, требуя в то же время от рабочих добросовестного исполнения своего долга у капиталистического станка, квалифицируя каждое требование рабочих, предъявляемое ими капиталистам, как чрезмерное и невыполнимое. Крестьянам оборонцы говорили: не трогайте помещичьих земель, ждите разрешения земельного вопроса Учредительным собранием и т. д. Как только массы от них отошли и стали бороться на деле «за землю и волю», оборонцы оказались в

одном лагере с крупными помещиками, капиталистами и всей царской черной сотней и вооруженной силой сами подавляли крестьянское восстание, разоружали рабочих, ввели смертную казнь на фронте для солдат и т. п.

Став на точку зрения поражения своей буржуазии, недопустимости защиты буржуазного отечества в захватнической войне, пораженцы (большевики) не отказывались от революционной классовой борьбы ни на одну минуту и ни при каких обстоятельствах. Затеянная буржуазией империалистическая война, всей своей тяжестью ложившаяся на плечи трудящихся масс, требовала от сторонников поражения усиления революционной классовой борьбы. Логика вещей и стратегия классовой борьбы должны были подсказывать им необходимость воспользоваться всеми затруднениями буржуазии и царизма — своего классового врага, — затруднениями, вызванными самой войной. Отсюда пораженцы логически должны были притти к выводу о необходимости превращения войны между грабителями в войну ограбленных всего мира против грабителей всего мира, и прежде всего в войну угнетенных и ограбленных каждой страны против грабителей своей страны. Этим самым пораженцы логически подходили к лозунгу превращения империалистической войны в войну гражданскую. Коротко: пораженцы оставались революционной партией и в новой, созданной войной обстановке, указывающей трудящимся массам новые методы и способы борьбы, новые революционные лозунги, соответствующие новой исторической обстановке — обстановке империалистической войны.

Эти глубокие политические разногласия, естественно, приводили в тюрьме к страстным и ожесточенным спорам между оборонцами и пораженцами по вопросу об отношении к империалистической войне и о революционных или контрреволюционных последствиях

того или другого отношения к ней той или другой политической партии в нашей стране. Эти споры приводили к тому, что лучшие друзья становились врагами, переставали друг другу подавать руки, здороваться и разговаривать.

Содержась долгое время в одиночном корпусе на одном коридоре со старым с.-р. О. Минором, я три раза в месяц попадал с ним вместе в баню. Обычно эти совместные хождения в баню бывали большим развлечением и вносили некоторое разнообразие в нашу жизнь: еще до войны мы делились новостями, разными сведениями, спорили слегка и т. п. Во время же войны мы в бане только и делали, что спорили ожесточенно об отношении к войне. Он, Минор, отбывавший вторую или третью каторгу при царизме, оказался оборонцем, защитником царизма; я, по сравнению с ним, молодой революционер и молодой каторжанин, воспитанный ленинской партией, оказался пораженцем. Наши споры дошли до того, что мы перестали разговаривать. Я был рад, когда меня перевели в другой этаж и больше не попадал вместе с Минором в баню.

Встретив однажды в тюремной лавочке бывшего большевика Ивана Галдина, который во время войны в тюрьме стал оборонцем, поспорив с ним в течение нескольких минут, я ему заявил: «Больше я тебе руки подавать не буду и товарищем своим не считаю. Никогда не буду в одной партии с теми, кто считает своим, да еще «революционным», долгом защищать царизм в грабительской, антипролетарской войне».

Было очень тяжело, когда мне однажды передали, что один большевик-каторжанин, М. Т...., став в тюрьме, хотя ненадолго, на точку зрения оборончества, считал линию меньшевистской думской фракции недостаточно оборонческой и недостаточно патриотичной. Он критиковал меньшевиков-оборонцев, так сказать, справа и заявил при этом, что «каждый созна-

тельный рабочий должен камнем разбить голову членам меньшевистской думской фракции за то, что они недостаточно энергично и недостаточно ярко и откровенно ведут линию «защиты отечества». Я также просил передать этому товарищу, что руки больше подавать ему не буду.

Было еще тяжелее, когда мы узнали, что Плеханов занял самую крайнюю оборонческую позицию. Для меня это было особенно тяжело. Когда я в 1911 г. уезжал из-за границы в Россию на подпольную работу — организовывать Всероссийскую партийную конференцию, ту конференцию, которая вошла в историю нашей партии под именем Пражской, я знал, что Плеханов, несогласный во многом с нами, большевиками, все же выступил со всей резкостью против ликвидаторов в защиту партии. На этом основании мне казалось, что при всем своем оппортунизме он настолько связан с нашей партией и с русским революционным рабочим движением, что когда выявляется угроза партии, ее основам и существованию, как революционной пролетарской партии, Плеханов должен быть с ней. Мне казалось, что когда создается угроза самостоятельности и независимости рабочего движения, когда возникает опасность его подчинения российской буржуазии, Плеханов порвет со своими друзьями справа, станет в наши большевистские ряды и вместе с нами, хотя и временно, станет защищать партию рабочего класса и ее основы против всех разлагающих ее анархистских и оппортунистических течений, против всех, кто проводит буржуазное влияние на пролетариат внутри партии. Ведь мы в 1911—1912 гг. вместе с плехановцами против «впередовцев» и против «голосовцев» восстанавливали партию! Вдруг Плеханов оказался в одном лагере со всей российской контрреволюцией, за классовый мир, за оборону отечества и царизма в грабительской войне, что было не лучше, а, может быть, в ты-

сячу раз хуже ликвидаторства. Оборончество означало ликвидацию партии, как самостоятельной политической партии рабочего класса, подчинение идеологии партии и целей рабочего движения интересам буржуазии. Это казалось мне невероятным и невозможным. Сначала думалось, что это клевета на Плеханова.

Узнав об оборончестве Плеханова, я писал в одной записке к т. Ионову, что было бы лучше для самого Плеханова, если бы он умер на 20—25 лет раньше. Тогда его имя осталось бы для нас дорогим и незапятнанным изменой делу рабочего класса, имя основоположника марксизма в России. Он остался бы для нас тем Бельтовым, книги и статьи которого мы когда-то с восхищением читали, усиливая его блестящей подчас аргументацией свои позиции в борьбе с мелкобуржуазным и явно реакционным неонародничеством—эсеровщиной. Тов. Ионов ответил мне, что желать смерти Плеханову это очень жестоко с моей стороны.

Тюремная администрация, желая выявить, кто из политических каторжан является оборонцем и кто пораженцем, как только была объявлена война, всем нам дала работу «на оборону». Не давая нам, содержавшимся за наше «дурное поведение» в одиночках, до войны никакой работы, она вдруг обязала нас шить рукавицы для фронта. Большая группа большевиков, не сговорившись между собою, от этой работы демонстративно отказалась, заявив, что мы — антимилитаристы и принципиально для войны и для армии работать не будем, не отказываясь от работы вообще (как каторжане, мы не могли отказываться от работы вообще).

Мы хорошо понимали, что наш протест за стенами тюрьмы никем услышан не будет, что он останется «гласом вопиющего в пустыне», но это был наш единственный способ протеста против войны и против массового опьянения патриотизмом значительных групп

заключенных. Против нас принимались репрессивные меры. Так, например, т. Фигатнеру, «знаменитый» Синайский, бывший начальник Орловской каторжной тюрьмы, заявил: «Выйдешь из карцера, опять дадим такую же работу. За новый отказ — снова карцер. И так до тех пор, пока не заставим тебя работать на армию». Тогда тов. Фигатнер в карцере объявил голодовку. Два или три раза он голодал таким образом по 9 суток, пока его, наконец, распоряжением тюремного инспектора Захарова не освободили от работы на военное ведомство.

Через два с лишним года после объявления войны к нам попали 33-й и 34-й номера «Социал-демократа» — центрального органа нашей партии (мне их прислала из-за границы заделанными в переплете одной книги т. Л. Сталь). В № 33 был напечатан манифест нашей партии об отношении к империалистической войне. Через два года в стенах тюрьмы мы услыхали голос нашей партии, который звучал бодро и громко на весь мир. Мы были вознаграждены.

Тов. Рудзутак на мою записку по поводу манифеста писал мне: «Я испытывал величайшее чувство гордости за то, что именно наша партия заняла правильную позицию в этот исключительный исторический момент. Я уж давно не испытывал такого чувства внутреннего удовлетворения, такой радости, как при чтении этого манифеста нашей партии».

В манифесте говорилось:

«Обе группы воюющих стран нисколько не уступают одна другой в грабежах, зверствах и бесконечных жестокостях войны, но, чтобы одурачить пролетариат и отвлечь его внимание от единственной действительно освободительной войны, именно гражданской войны против буржуазии как «своей» страны, так и «чужих» стран, для этой высокой цели буржуазия каждой страны ложными фразами о патриотизме стара-

ется возвеличить значение «своей» национальной войны и уверить, что она стремится победить противника не ради грабежа и захвата земель, а ради «освобождения» всех других народов, кроме своего собственного.

«При данном положении вещей нельзя определить, с точки зрения международного пролетариата, поражение которой из двух групп воюющих наций было бы наименьшим злом для социализма. Но для нас, русских соц.-демократов, не может подлежать сомнению, что с точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии, самого реакционного и варварского правительства, угнетающего наибольшее количество наций и наибольшую массу населения Европы и Азии.

«Пролетарский Интернационал не погиб и не погибнет. Рабочие массы через все препятствия создадут новый Интернационал. Нынешнее торжество оппортунизма не долговечно. Чем больше будет жертв войны, тем яснее будет для рабочих масс измена рабочему делу со стороны оппортунистов и необходимость обратить оружие против правительств и буржуазии каждой страны.

«Превращение современной империалистской войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг, указываемый опытом Коммуны».

Настроением и надеждами, выраженными в манифесте нашей партии об отношении к войне, мы жили на каторге все тяжелые годы империалистической войны: мы были уверены в близкой революции и нашем близком освобождении революцией.

Оборонцы, думая (или желая так думать), что благодаря их оборончеству — «единению народа с властью» — царизм стал лучшим, чем был прежде, часто приносили известия после свиданий с своими родственниками о том, что вот-вот в связи с открытием

сессии Государственной думы или в связи с какой-то юбилейной датой будет дана амнистия политическим заключенным.

— Об этом никто громко не говорит, никто не пишет и в Думе не ставят вопроса об амнистии, — добавляли они, — но все знают хорошо, что амнистия будет. Не говорят же и не пишут именно потому, чтобы не напортить амнистии. Если общество заговорит об амнистии, печать о ней будет писать, а в Думе левые начнут требовать ее, тогда правительство амнистии не даст. А без всего этого общественного шума власть сама даст амнистию.

Мы, пораженцы, находившиеся на каторге, хотя и оторванные силою от трудящихся масс и изолированные от совершавшихся мировых событий, не потеряли способности оценивать царизм и те классы, которые его поддерживали, попрежнему, по-революционному. Мы думали иначе о нашем освобождении. Мы полагали, что если будем освобождены во время войны, то только восставшим народом, но не иначе: мы знали, что царизм добровольно не выпустит своих пленников.

Как революционные марксисты, мы понимали, что империалистическая война, которая тогда велась, по своему размаху и объему требовала колоссальных материальных средств и небывалого напряжения сил всех слоев населения, главным образом трудящихся. Война требовала приспособления всей промышленности и всего народного хозяйства каждой страны к непосредственным задачам войны в ущерб самых насущных и самых жизненных интересов и потребностей широчайших масс населения, в первую очередь трудящихся масс. Внутри каждой страны война приводила к баснословным сверхприбылям для небольшой кучки капиталистов — с одной стороны, к крайнему напряжению,

обнищанию, голоду и порабощению широких трудящихся масс города и деревни — с другой.

Мы понимали, что особенно не под силу была эта затянувшаяся война для старой царской России, как наиболее слабо развитой в промышленном отношении страны по сравнению с остальными странами, главными участниками этой войны. На базе отсталой техники, слабо развитой промышленности, на базе мелкого, малоземельного, распыленного обнищалого крестьянского хозяйства нельзя было вести такой огромной войны, когда партнером в ней была Германия — со своей высокой техникой и высоко развитой тяжелой промышленностью.

Мы глубоко были уверены в том, что эта война в конечном счете нанесет удар капитализму и в первую очередь русскому царизму. Мы, естественно, не знали и не могли знать, когда и где этот удар разразится. Трудно было предвидеть, наступит ли крах во время войны или в момент ее окончания, при демобилизации армий, когда начнут разоружать массы и когда массы увидят, что они оказались обманутыми своими капиталистами и «вождями» социалистических партий. Также трудно было предвидеть, наступит ли крах сначала в одной из воюющих западно-европейских капиталистических стран, а потом у нас, или наоборот — первый удар получит русский царизм.

В этих условиях и с этой глубокой верой мы дожили на каторге до семнадцатого года. Начиная семнадцатый год в тюрьме, на каторге, нам трудно было предвидеть те революционные события, которые через два месяца, в марте 1917 г., у нас в стране развернулись и привели к свержению сначала царизма, а потом, через восемь месяцев, и капитализма.

Мы дожили до настоящей революционной «амнистии» — первого марта 1917 года — дня нашего освобождения из тюрьмы (Бутырок) восставшим наро-

Бреслав. 3 дня Февраля 1917 г. Н. 675.

17463

дом, снявшим цепи не только с нас, но снявшим и вековые цепи со всей огромной, многомиллионной страны. Многолетняя мечта наша, наконец-то, осуществилась, как в сказке. Первый серьезный шаг по пути пролетарской революции пролетариатом и крестьянством России был сделан.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ И ВЕЧЕР НА КАТОРГЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОССТАВШИМИ

Первое марта. Морозный туманный день. В одиночке тюрьмы от грязи и пыли еще мрачнее и темнее обыкновенного. Наши единственные друзья — голуби — от мороза куда-то запрятались. Только калека-воробышек прилетел и стал стучать своим маленьким клювом о замерзшее стекло. Открываю форточку, воробышек прыгает на подоконник, съежился, вздымает свои перышки и греется. Крошу ему хлеб, а он, отскакивая подальше от моей руки, подозрительно поглядывает на меня, как-будто хочет сказать, что людям нельзя доверять даже тогда, когда они кажутся добрыми и ласковыми. Но скоро мой маленький гость улетает. Опять замерзшие окна, тени решеток на стенах, полумрак. Только и слышны лязг цепей и щелканье ключей в дверях. Однообразно и бесцветно течет в этой темноте многолетнее прозябание, называемое жизнью.

Вспомнишь близких и дорогих людей, товарищей, все пережитое когда-то: но как все это далеко ушло, недостижимым стало. Лица близких встают в памяти, как старый полуистертый портрет, а пережитое — как слабое, далекое и едва слышное эхо. Как жалобный плач брошенного ребенка, зовущего к себе на помощь свою мать, это эхо постоянно тревожит сердце узника и волнует его душу. Где они, эти близкие и доро-

гие? Что с ними? Грустят ли, тоскуют ли, болеют ли сердцем за нас иль забыли?

День погас незаметно, и так же незаметно одна темнота сменила другую. Зажглись огни. Наступает ночь с ее мертвой тишиной. Сколько в этих клетках людей, от которых бежит сон? Сколько мучительных дум бродит в их головах? Но не блажен и тот, кому спится: он часто просыпается от необычного шума и слышит крики: «Фельдшера!... воды!.. снимай скорей!»... Весь замираешь. Ведь знаешь, что это кто-нибудь, наконец, не выдержал и покончил счеты с жизнью. Вокруг него суетятся, стараются помешать ему избавиться от ставших невмоготу мучений.

— Будь вы все сто раз прокляты, спасители мои! — крикнул один в общей камере, когда его вынули из петли и привели в чувство.

В моих ушах и теперь раздаются эти слова.

Просыпаешься часто и от исступленного крика и плача сошедшего с ума от ночных кошмаров.

— Симулянты! Дурака валяют и только, — со злобой говорят надзиратели.

Слышишь беготню, грохот открывающейся двери.

— Ой, ой!.. — разносятся по корпусу тяжелые стоны.

Слышна борьба... Хрипение. Кому-то из заключенных затыкают рот.

— Ой, бьют, товарищи!.. — вырывается у него снова.

Скоро все смолкает... Мучительно больно от сознания своего бессилия кому-либо помочь, что-либо сделать. Встаешь с койки и начинаешь ходить по своей клетке. Иной раз хочется удариться головой о что-нибудь и разбить ее, чтобы навсегда прекратить эти мучительные переживания.

Сидел я уже шестой год. Еще год оставался до кон-

ца каторги. Какой пустяк один год, когда так много уже осталось позади. Скоро цепи спадут, буду опять вольным человеком, опять увижу своих близких и дорогих, лучших товарищей, опять работа на заводе, фабрике, в мастерской, в знакомой и дружной рабочей среде. Опять кружки, общие чтения, собрания, а там— пусть снова будет тюрьма и каторга. Так уже давно ведется на Руси. Но теперь хотелось вырваться хоть на миг, хоть немного подышать вольным воздухом, чтобы грудь высоко поднялась и всей своей силой втянула в себя воздух воли.

Первого марта 1917 года я не знал еще, что это будет последний день и последний вечер на каторге.

Послышался топот ног. Защелкал торопливо ключ в дверях. Открылась дверь, и в камеру вошло несколько старших надзирателей, два помощника начальника и молодой офицер в черном полушубке с револьвером в руках, держа палец на курке, готовый тут же спустить его, если понадобится.

— Встать!.. смирно!.. — раздалась обычная для каторжан команда.

— Здравствуйте, — произнес офицер.

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие... — ответили мы, я и мой товарищ по камере, по привычке и по обязанности каторжного.

— Вы — политические? — спрашивает офицер с револьвером в руках.

— Да, политические, — ответили мы оба в один голос.

«Не хотят ли с нами расправиться», — мелькнуло в голове.

— За что осуждены? — продолжает спрашивать офицер.

— За принадлежность к Российской социал-демократической рабочей партии, — сказал я.

— За принадлежность к социал-демократии Польши и Литвы, — сказал мой товарищ.

В дверях появились три или четыре женщины с добрыми, сияющими лицами, с приколотыми на груди значками Красного креста. Их лица озарялись радостной улыбкой. Появился в дверях еще какой-то студент. Все они внесли к нам в мрачную одиночку тот аромат воли, который ощущается только заключенным.

— Чему они радуются? — подумал я. Какая-то злоба стала нарастать в душе.

Вдруг вбегает в камеру начальник тюрьмы Колченко, бледный, растерянный и взволнованный.

— Ну, вот вам политический Бреслав, — произнес он с раздражением и досадой, указывая на меня и обращаясь к офицеру.

— Вы пойдете на волю? — спрашивает офицер.

— Что значит, пойдем ли мы на волю? — Мы — политические и не считаем себя виновными в чем-либо против общества. Мы — пленники царизма и подчиняемся здесь только силе. Держат — сидим, пустят — уйдем.

— Бреслав, здесь дело серьезное: эти люди, — сказал начальник, указывая на офицера и на вошедших в камеру женщин, — хотят вас освободить, но мы... — он запнулся немного — не можем дать вам всем подходящих костюмов. Пойдете ли вы на волю в арестантской одежде?

— Хотя бы в одном белье, — сказал я.

— Конечно, свобода дороже злата, — сказал офицер с револьвером. — Мы вас сейчас освободим, — добавил он после некоторого молчания.

Одна из вошедших женщин, больше всех радостная и улыбающаяся, подошла и пожала мне и моему товарищу руки. Потом все повернулись, ушли, и дверь снова захлопнулась. Ключ повернулся два раза со своим

обычным звоном, ударявшим так больно по душе и нервам.

— Неужели всеобщая амнистия? — сказал мой товарищ по камере.

— Если бы была амнистия, то был бы другой разговор. Вызвали бы в контору тюрьмы, и прокурор, руководствуясь статьями указа об амнистии и категорией осужденных, освобождал бы. Значит, в городе восстание. И восстание победоносное, если уже пришли нас освобождать. Бледность начальника, его взволнованность говорят за это предположение.

— Не может быть! Ведь только два дня прошло, как у меня были на свидании и ни слова не сказали о каком-либо возбуждении в массах, а тут — сразу восстание да еще победоносное. Скоро, дружище, у тебя дела делаются.

Я подумал, что мой товарищ прав. Но почему и по какому поводу амнистия? Неужели царизм решился добровольно выпустить своих пленников? Почему офицер держит наготове свой револьвер? Почему вся администрация взволнована? Почему лица вошедших женщин так радостно сияли? Почему они нам так особенно улыбались, так тепло и дружески пожимали руки? Но почему нам никто ничего не сказал, почему никто их них нам ничего не объяснил? «Мы вас сейчас освободим!» — но разве этого достаточно? Быстро мелькали мысли, обгоняя одна другую.

Голова закружилась, глаза застилались дымкой, а сердце сильно стучало в груди при мысли, что вот-вот будет конец, такой неожиданный конец этой каторги.

Тихо-тихо вкладывается ключ в дверную форточку, через которую обыкновенно подают еду. Так же тихо открывается форточка, показывается лицо одного из отделенных надзирателей.

— Ну, как, Бреслав, волнуешься?

— Как же не волноваться. Полтинов, скажите, пожалуйста, в чем дело?

Лицо этого единственного доброго надзирателя принимает какой-то торжественный вид. Он радуется и волнуется. Ему хочется поделиться с нами, сказать нам радостную весть, но его положение надзирателя мешает ему это сделать, заставляет быть осторожным. Он оглядывается... Никого нет поблизости. Он наклоняется еще больше ко мне и, понизив голос, говорит:

— Дело это народное... Сам, брат ты мой, народ это делает... Да и войско с ним. А ежели народ сам распоряжаться стал, нешто захочет он, чтобы люди напрасно страдали.

— Но расскажите подробнее, как это так делается?

— Да очень просто, Бреслав. Пришли это они к тюрьме, поставили у ворот свой караул и теперь распоряжаются. Составляют списки и по этим спискам выпущать будут.

Форточка опять тихо-тихо закрылась...

— Да, ты был прав, — говорит мой товарищ. По всему видно, что восстание.

Влезаю на окно, открываю форточку и изо всех сил кричу:

— Яшка, Яшка, Яшка!

— Что? — послышался, наконец, ответ.

— У тебя были... Заходил ли кто из начальства к тебе?

— Нет, никого не было.

Рассказываю, что произошло у нас. Услыхали и другие. Со всех сторон закричали:

— Борис! а Борис! Что такое, в чем дело?

— Не может быть, — отвечают одни.

— Не шутишь? — переспрашивают другие.

— Довольно разговаривать через окна!.. — кричит постовой надзиратель, стоящий во дворе. — Я много разговаривать не буду с вами, — продолжает он после

некоторого молчания. — Предупреждаю, что буду стрелять.

Никто не обращает внимания на эти угрозы. Весь одиночный корпус ожил. Плотина его постоянного безмолвия прорвалась, и трудно теперь удержать этот поток живой речи живых, но замурованных людей.

Слезаю с окна и смотрю на своего сокамерника, который смотрит в одну точку, ничего не видя.

— Эдуард, неужели это правда, что мы сейчас на волю пойдем?

— Не знаю, Борис. Мне не верится, а верить хочется.

Я молчу. У меня тоже зародилось сомнение. Мне сначала стало казаться, что все это происходит во сне, а потом, что я схожу с ума, что у меня галлюцинации. Обнимаю свою голову обеими руками и крепко, насколько было силы, сжимаю ее. Захотелось ощутить ее и узнать, что в ней творится. Казалось, что так я могу удостовериться, схожу ли я с ума или нет.

Разговоры через окно прекратились. Слышно по стуку котов и звону кандалов, как многие, оставив форточки окон открытыми, так же бегают по своим клеткам взад и вперед, как и мы. Медленно тянется минута за минутой. Так прошло с полчаса. Мой товарищ сел и закрыл свое лицо обеими руками. Я не вижу его глаз и не могу понять, что с ним делается, о чем он думает.

«Да, я схожу с ума. Не может быть, чтобы это было действительностью!»... — пронеслось в голове.

Послышались тяжелые шаги надзирателя. Этажом ниже, под нашей камерой, защелкал ключ в дверях. Там сидел политический Борисенко. Ирония судьбы: за попытку к побегу он недавно просидел в темном карцере тридцать суток, где его несколько раз избивали, допрашивали. кто ему дал пилочку. А теперь надзиратель открывает дверь его одиночки и кричит ему:

— Борисенко, выходи на волю!

— Куда? — переспрашивает изумленный Борисенко.

— На волю, тебе говорят! Выходи, не задёрживай.

— Прощайте, товарищи! Выхожу на волю!.. — прозвучал его голос в коридоре.

Ноги мои задрожали. Казалось, что сердце вот-вот разорвется от радости.

— Борис, а Борис, ты еще здесь? — кричит мне кто-то из окна.

— Да, еще здесь.

— А Джапаридзе уже взяли.

— И меня берут, прощайте!.. — слышно из другого угла корпуса.

Мрачный корпус одиночных камер опять ожил.

— У-р-а-а-а... У-р-а-а!!! — донесся до нас издалека приветственный голос многотысячной толпы.

— Дзинь... Дзинь... Бах... Бах!.. — доносится до нас стук и звон разбиваемых кандалов.

Проклятые решетки, проклятые замки и стены! Где взять столько сил, чтобы одним ударом вас разбить и умчаться туда, к этой родной толпе, слиться с нею, затеряться в ней, вместе с нею сражаться и погибнуть. Пусть это будет минутой, мгновением, но это будет моя минута, мое мгновение, я вложу в это мгновение все, всю свою душу, всю любовь к свободе и к людям, всю свою злобу и ненависть к неволе и цепям.

Щелк. Дверь открылась.

— Ну, Бреслав, наконец-то и до тебя очередь дошла. Выходите оба, — говорит надзиратель.

Хватаю свои книги и бегу вниз. Со всех сторон идут с котомками товарищи. У всех лица растерянные, глаза блуждающие. Крепко пожимаем друг другу руки.

— Дай вам бог всего хорошего. Довольно настрадались. Пора вам на воле побывать и обрадовать своих родных, особливо бедных матерей, — говорит от-

деленный надзиратель Чернышев, отдавая мне хранившиеся у него книги.

В руках у него молоток и зубило: он только что расковывал людей, пот льется крупными каплями с его лица. Идем дальше.

Отовсюду идут каторжане, везде звон разбиваемых кандалов. Все тюремное начальство тут, — считает и записывает нас.

— Надолго ли, Бреслав? — спрашивает меня один из помощников начальника, ехидно улыбаясь.

— Не знаю, г. Орехов. Будущее покажет.

В огромном зале, называемом «сборной», я застал уже свыше трехсот каторжан, похожих больше на двигающихся мертвецов, чем на живых людей. Лица бледные, щеки впалые. Только глаза блестят. Многие обнимают меня и целуют.

Во время ожидания в сборной мы видели только, как какие-то незнакомые нам люди в штатском и военном, но не принадлежавшие к тюремной администрации, с винтовками на перевес пробегали мимо нас вперед и назад, появляясь во входной калитке наружных широких ворот и исчезая в дверях, ведущих в контору тюрьмы и обратно. По всему видно было, что эти люди, хозяйничая, еще не чувствуют себя полными хозяевами тюрьмы, они действуют торопясь и наспех, желая сделать как можно больше из намеченной задачи в кратчайший срок; они спешат уйти отсюда, как можно скорее.

Небольшое количество неразоруженных тюремных надзирателей было в сборной и как-будто незаметно окружали нас. Видимо, по «директиве» высшей тюремной администрации, они еще наблюдали за нами, попрежнему стерегли нас, но ни единого слова не проронили, ни единым движением мускулатуры лица, они не проявили своего отношения к происходящему, как-будто они были здесь посторонними, молчаливыми и

безучастными наблюдателями. «Для нас, мол, безразлично, что происходит сейчас, мы — люди службы»,— было написано на неподвижных лицах большинства из них.

Несколько товарищей передали мне, что минут 5—10 тому назад, до моего прихода в сборную, какая-то женщина спрашивала меня. К сожалению, больше она не появлялась. Было очень досадно на то, что меня так долго не выводили. Очень хотелось обменяться хоть несколькими словами с человеком, пришедшим с воли. Может быть, это был представитель нашей организации, у которого я мог узнать самое существенное о событиях. Потом я подумал, что это, наверное, была та незнакомая мне добрая «Катя», которая в течение 5—6 лет посылала мне ежемесячно открыточку, немного денег, а в последнее время, когда разрешили, и посылочку, в упаковке который и самом подборе продуктов всегда чувствовалась исключительная теплота и заботливость.

Кто-то передал нам маленькую листовку, напечатанную типографским способом за подписью, кажется, Петербургского комитета РСДРП(б). Эта листовка состояла из коротких, сжатых, лаконических, а вместе с тем и жгучих фраз, таких фраз, которые пишутся только на поле битвы и в момент неоконченного боя, когда победа ясно определилась, но когда все внимание и командующих и бойцов поглощено еще самим боем и нет времени на лишние слова и на округление фраз, когда нужно сообщать участникам боя самое необходимое для их ориентации и для ввода в бой все новых и новых сил, чтоб победа была окончательной. Но для нас, еще не вышедших из стен тюрьмы, эти фразы были ударами тяжелого молота по призывному набатному колоколу: «На улицах Питера идут бои. Окружный суд горит. Петропавловская крепость занята восставшими» и т. д. в таком духе. Спокойно читать

эту листовку мы не могли, в горле что-то застревало. По окончании чтения листовки у нас вырвалось какое-то тяжелое и хриплое «ура!».

После получасового ожидания главные ворота тюрьмы, наконец, раскрылись, и мы, не веря еще своим глазам, стали выходить из тюрьмы на настоящую волю. Многие уселись на грузовые автомобили. Их увозят в городскую думу. Я пошел пешком. Иду, спотыкаюсь и падаю. Люди из толпы поддерживают меня. Море радостных лиц и махающих белых платков.

— Поздравляем, поздравляем!.. — слышится со всех сторон.

Мне пожимают руки, а некоторые целуют.

— Сколько просидели, голубчики? — спрашивают другие.

Стон и вздох вырываются у многих на наш ответ, сколько мы просидели.

— Позвольте вам помочь нести ваши книги, — обращаются ко мне трое: студент, курсистка и гимназист.

Они берут мои книги и меня самого под руки. Как хорошо чувствовать в такие моменты такую душевную теплоту окружающей среды. Все люди становятся родными и близкими.

Я хорошо знаю Москву, знаю место, где находится тюрьма, но теперь не знаю, где нахожусь и куда мне нужно итти.

— Отведите меня в такой-то переулок, он должен быть недалеко отсюда, — сказал я.

И меня туда отводят мои новые друзья.

У знакомых меня встретили радостным возгласом: «а мы вас уже ждали!». В уютной, теплой квартире, казавшейся дворцом по сравнению с только что покинутой одиночкой тюрьмы, мне все же не сиделось: она меня сдавливала, меня куда-то тянуло.

Мои знакомые, хотя и были всей душой на стороне революции и в течение многих лет, многим рискуя,

помогали революции, сами активного участия в борьбе не принимали. В силу этого их рассказы о событиях были «рассказами очевидцев» и скорее похожи были на обывательскую оценку этих событий. Однако тех фактов и эпизодов уличной борьбы одного минувшего дня восстания в Москве, о которых они мне рассказали в течение лишь 5—10 минут пребывания у них в квартире, было достаточно, чтобы уяснить себе, что движение имеет небывалую ширину и глубину, что происходящее восстание не похоже на восстание 1905 года. Опыт пятого года, опыт двух с половиною лет войны даром не прошли: массы научились действовать организованно и целеустремленно — захватывать решающие позиции противника.

— Это восстание подавить не удастся! — воскликнул я.

Мои знакомые, видимо, так же думали, но не решались, однако, так определенно высказаться, и они очень одобрительно отнеслись к моей оценке восстания.

Мне не сиделось, тянуло на улицу, туда, где, как мне казалось, могли еще происходить столкновения, хотя уж было около 10 часов вечера и при отсутствии освещения улиц вряд ли можно было вести в тот момент какие-либо серьезные уличные бои. Не сиделось на месте еще и потому, что в голове шевелилась тревожная мысль о товарищах, только что покинувших тюрьму вместе со мною.

«Где они теперь? У огромного большинства из них нет никаких знакомых в Москве, многие даже Москвы не знают. Куда они двинутся? Мне надо быть там, где все они находятся. Надо связаться с партийной организацией, принять активное участие в происходящих событиях, и, если уж придется драться, — составим одну боевую дружину освобожденных и будем драться действительно до последней капли крови. Надо совместно с другими выяснить, все ли политические ка-

торжане освобождены; собраться надо, немедленно выявить имена оставшихся в тюрьме товарищей и потребовать их немедленного освобождения».

Вдруг я вспомнил, что среди освобожденных не заметил тов. Рудзутака, который сидел надо мною в одиночке; вспомнил также, что за несколько дней до этого он заболел и его отправили в тюремную больницу. Значит надо освободить политкаторжан, содержащихся в данный момент в тюремной больнице, ибо туда восставшие, видимо, не догадались пойти. К тюрьмам пошли, это понятно, а о тюремных больницах могли забыть. Тюремная администрация сама, по своей инициативе, не освободит заключенных. Судя по тому, как она себя вела и держалась при нашем освобождении, видно, что она полагает, что все происходящее не более как случайный и преходящий эпизод. Завтраде к Москве подойдут новые правительственные силы, и «бунт» будет подавлен. Тогда всех этих освобожденных голубчиков поташат назад в тюрьму и прихватят еще тех, кто их освобождал. В лучшем случае администрация держалась выжидательной политики, ждала, кто окажется победителем. В тот вечер тюремная администрация не могла думать, не могла верить, что над царизмом, который она так усердно охраняла, народные массы, наконец, одержали окончательную победу.

Я до сих пор жалею, что мне, как и многим другим из освобожденных товарищей, не пришла в голову мысль арестовать начальника тюрьмы, палача Колченко, переведенного в Бутырскую тюрьму в начале войны из Орловского каторжного централа, где он поддерживал и проводил самый ужасный режим.

— Я пойду в городскую думу, куда отправили всех освобожденных, — заявил я своим знакомым.

— Куда вы пойдете в таком ужасном костюме (я был в арестантском костюме), — воскликнули мои зна-

комые. — Первый встречный черносотенец вас из-за угла укокошит, — добавили они.

— Другой одежды у меня сейчас нет.

Наконец, мне дали какое-то большое теплое пальто с меховым воротником и шляпу. Пальто я надел поверх арестантского серого бушлата. Таким образом мой арестантский вид был только прикрыт.

На улице — трескучий мороз и вьюга, темно, фонари не горят, прохожих почти нет. Настороженная тишина. Все притаилось в каком-то тревожном ожидании. Изредка по улицам быстро мчались легковые автомобили и рядом с шофером сидело по два вооруженных винтовками солдат. Видимо, это был своего рода революционный патруль, объезжавший город и наблюдающий за тем, что происходит в разных его частях и не проявляет ли признаков жизни побежденный, но еще не разбитый враг.

Мои новые друзья — студент, курсистка и гимназист, — проводившие меня из тюрьмы к знакомым, остановили один из таких мчавшихся автомобилей и, объяснив солдатам, кто я такой, тепло попрощавшись со мной и записав мою фамилию, усадили меня в автомобиль, который отвез меня в городскую думу.

Возле думы была совершенно другая картина: яркий свет фонарей, горящие костры, возле которых греются люди, и какой-то невообразимый хаос и столпотворение. Масса народу, через которую трудно было пробраться. Автомобили подъезжали, уезжали и без конца гудели своими охрипшими гудками: сплошной гул стоял в воздухе от автомобильных гудков. Студенты, с красными повязками на рукавах, пытались установить какой-нибудь порядок. Везде слышалось новое, ласкавшее слух слово «товарищ».

— Товарищи, стойте! Товарищи, потише! Товарищи, осторожнее! Товарищи, вам куда нужно? и т. д.

Значительные группы солдат, вооруженных винтов

ками, торопливо и спеша приходили и куда-то уходили.

На площади, почти у самого здания думы, стояла откуда-то притащенная сюда одинокая пушка, длинное дуло которой было поднято кверху, в небо. Возле пушки никого и ничего не было: ни людей, ни снарядов.

Я направился через главный подъезд в думу. Часовые и студенты меня сначала не пропускали, прося пропуск. Когда я распахнул свое пальто, показав свой арестантский костюм и сказав, кто я, меня сразу пропустили и даже указали, где находятся остальные товарищи, привезенные из Бутырок. Так мне пришлось действовать несколько раз. Арестантский мой костюм оказался наилучшим пропуском.

Коридоры думы были переполнены вооруженными солдатами: одни бесконечной лентой, торопливо, чуть ли не бегом, приходили, а другие, также торопливо, куда-то уходили. Вдоль стен всех коридоров сплошной лентой много солдат от переутомления спало, сидя на полу, нервно сжимая в руках винтовки.

В одном из больших зал думы, кажется второго этажа, я нашел всех товарищей, освобожденных вместе со мною из тюрьмы. В зале на большом столе стоял огромный кипящий самовар, какие обычно встречаешь в вокзальных буфетах, на столе лежали куча пиленого сахара, бутерброды, но редко кто из товарищей пил чай и закусывал. Все в своих арестантских костюмах, некоторые с своими котомками или сидели молча по углам, или, также молча, нервно бродили по залу взад и вперед, как это обычно ими делалось в общих камерах.

Огромный, просторный и красивый зал, ярко освещенный, кипящий самовар, белоснежный сахар на столе, чистенькие тарелки и салфетки, аппетитные бутерброды, гостеприимность и улыбки курсисток, с любовью обслуживавших нас, ни в какой мере не гармо-

нировали с серыми мрачными арестантскими костюмами, изможденными и усталыми лицами освобожденных, придавленных неожиданностью своего освобождения и происходящими событиями исключительной исторической важности.

Среди товарищей я заметил сидевших в одном углу вместе освобожденных каторжанок из женского одиночного корпуса Бутырок — Карташеву, Иванову, Овчарек и других.

Сразу также заметил высокую худощавую фигуру т. Дзержинского, одиноко бродившего по залу. С товарищем Дзержинским мы были давно знакомы. До этого мы с ним встречались зимою 1902 года, по дороге в ссылку, в Александровской центральной пересыльной тюрьме возле Иркутска; в Париже в 1911 году, во время совещания членов ЦК, живших за границей. В Бутырках мы поддерживали переписку и однажды встретились в цейхгаузе, когда нас водили за получением каких-то вещей.

В такой обстановке делать было нечего, и я решил пойти обратно к знакомым переночевать и утащить с собою т. Дзержинского, который согласился вместе со мною покинуть этот зал. Выйдя из думы, мы вдвоем, в мороз и вьюгу (я в своем длинном пальто и летней шляпе, Дзержинский в сером арестантском бушлате и с небольшой котомкой на плечах), как бродяги в Сибири, побрели по Неглинному до Самотеки. Примерно в 2 ч. ночи мы добрались до моих знакомых, которые уже спали и нас, конечно, не ждали.

Прекрасный человек и хороший товарищ, В. М. Левицкая ввела нас в маленькую комнатку своего сына студента, который лежал уже в кровати. Сама В. М. уселась на краю кровати сына, а мы с Дзержинским на стульях, и проговорили почти до утра. Говорили о тюрьме, о каторге, о восстании и о дальнейших судь-

бах русской революции и о кошмарной, бесконечно тянувшейся войне.

Я и т. Дзержинский так отвыкли за годы тюрьмы от обычной домашней обстановки, что, когда прислуга стала застилать нам постель: одному — на узком жестком диване, другому—на полу на матраце, и стала расстилать беленькие тонкие простынки — самая обыкновенная житейская вещь, — у нас обоих одновременно вырвалось:

— Как приятно будет спать на такой простынке!

Улегшись, наконец, мы оба не спали, так сильно были возбуждены нервы.

— Тов. Дзержинский, вы спали? — спросил я его, когда стало светло.

— Нет, — был ответ.

— А вы-то сами спали? — спросил он меня в свою очередь.

— Я тоже не спал.

У т. Дзержинского в Москве была сестра, беженка, он знал ее адрес, но ночью не мог бы ее найти. И рано утром он попросил у В. Левицкой те самые пальто и шляпу, которые я вчера носил, чтобы одеть их так же, поверх арестантской одежды, и таким образом добраться до сестры. К 10 часам утра т. Дзержинский уже вернулся, одетый «по-человечески», вернув пальто и шляпу, которые еще были нужны мне. Арестантский халат т. Дзержинского я в течение нескольких лет видел у т. Левицкой, которая хранила его как реликвию.

На второй день я пошел в думу. Остальная часть гарнизона, вчера колебавшаяся между старым режимом и восставшим народом, перешла на сторону народа. Полк за полком, дивизия за дивизией, стройными рядами, с красными знаменами, в полном вооружении подходили к думе, заполняя всю площадь и все во-

круг. Я вошел в один из зал третьего этажа и из окна стал смотреть на эту величественную картину.

Я видел море. Видел его спокойным, равномерно катящим свои волны к берегу, играющим береговым песком, дышащим, как огромное необъятное живое. Я видел его бурным и гневным у высокого, обрывистого берега, с огромными черными скалами. Оно металось, бурлило и злилось. Оно било всей своей силой о могучие скалы и о сковавший его берег. Оно злилось оттого, что ему хотелось разбить сейчас же все преграды, а приходилось разрушать их неустанно, в течение веков. Грознее, спокойнее и могущественнее было это море серых шинелей, сверкающих на солнце и морозе штыков и красных знамен. Оно без злобы, без отчаяния, спокойно и уверенно разбивало все старое, веками мешавшее нам жить. Весь день я не мог оторваться от этой картины. И крупные слезы радости неудержимо текли из моих глаз.

После небывалого военного парада, каких до того я не видел, из того же окна думы я наблюдал и другие картины: как группы вооруженных рабочих и солдат приводили к думе арестованных и обезоруженных полицейских — городовых, околоточных, приставов и других чинов.

Странно было в то время видеть, как вчерашний «держиморда», представитель «столичной полиции», обычно блестяще одетый, с закрученными кверху усами, со всеми знаками отличия на груди, важно шагавший, держа «грудь колесом», стал «мокрой курицей»— жалким, пришибленным, не смеющим прямо смотреть в глаза людям и дрожащим от чисто животного страха, боязни за свою жизнь. Никакого озлобления и чувства мести его вид не вызывал, кроме чувства гадливого отвращения к трусливому и наемному «охранителю устоев». Такое отношение к нему было и у тех рабочих и солдат, которые приводили его.

К вечеру нас всех усадили на грузовик и повезли на окраину города Москвы, куда-то в район Замоскворечья. По дороге детвора рабочих кварталов кричала нам: «Ула! Ула!»

Привезли нас в какую-то чайную-ресторан, находившуюся в ведении Союза городов и земств. Сюда нам привезли солдатское нижнее белье, огромные солдатские сапоги с портянками, костюмы неопределенного цвета и по ватной короткой куртке.

Когда я сбросил с себя арестантское платье и надел человеческое, я сказал себе:

— Я вольный человек в вольной стране!

ПЕРВЫЕ ДНИ НА СВОБОДЕ

На следующий день, прежде чем я попал в рабочие кварталы Москвы, куда больше всего меня тянуло, прежде чем я успел разыскать партийные связи, — я встретился с группой освобожденных товарищей — политических каторжан (среди которых, помню, были тт. Фигатнер, Ипатов и, кажется, Ф. Килевиц), и мы отправились в Бутырскую тюрьму выяснить, все ли политические освобождены.

Сильны и свежи были еще наши переживания, связанные с тюрьмой и освобождением, они еще господствовали над нашими чувствами и мыслями, и малейшее сомнение в том, что, быть может, не все политические освобождены, что кто-нибудь там еще остался, заставляло итти в одиночку и группами к тюрьме с намерением вытащить оттуда оставшихся любой ценой.

В тюрьме мы застали совершенно новую картину, резко отличавшуюся от той, которая была еще день тому назад при нашем освобождении. Новая картина в тюрьме отражала уже в себе, хотя лишь косвенно, силу и глубину совершавшихся событий.

Начальник тюрьмы Колченко, бывший до Бутырок начальником Орловской каторжной тюрьмы, скрылся, предварительно выпустив на свободу большое количество уголовных каторжан. Эти факты наглядно показывали, что на первом этапе революция одержала серьезную победу, что царизм разбит на-голову. Его верные и преданные слуги, как Колченко, определив своим чутьем положение вещей, бегут, как крысы с тонущего корабля. Освобождение уголовных также показывало, что слуги старого режима, разбитые в первом бою, не сдаются и оружия не складывают, что втиши они стараются наносить удары революции и что борьба с ними далеко еще не закончена.

Выпуская уголовных, Колченко надеялся на усиление грабежей, погромов и убийств, что тогда представляло несомненную опасность для революции. Это был явно сознательный контрреволюционный акт.

Группы уголовных каторжан при нас продолжали еще уходить из тюрьмы. Они овладели цейхгаузом собственных арестантских вещей. Замки цейхгауза были взломаны, вещи разбирались уголовными, отбивавшими друг у друга лучшее, старавшимися по возможности быстрее переодеться в вольную одежду, сбросить арестантскую и смешаться в толпе вольных людей. Эта психология вырывающихся из тюрьмы на волю людей была нам очень знакома.

Мы быстро сообщили об этом по телефону Общественному комитету города Москвы и предложили ему принять ряд мер. По нашему предложению наиболее приличный из всех остальных помощник начальника тюрьмы Тихомиров, оставшийся на месте, был назначен комитетом временно исполняющим обязанности начальника Бутырской тюрьмы. Ему же по телефону было передано распоряжение немедленно прекратить освобождение уголовных, что им. Тихомировым, также немедленно, при нас, было исполнено.

Для меня было ясно, что огульно выпустить всех уголовных было опасно тогда для революции. Однако мне было тяжело и неприятно принимать меры против их освобождения. Свежо еще было сознание того, что только вчера мы с уголовными вместе были в одних и тех же камерах, спали рядом с ними на одних и тех же нарах и койках, находились в одних и тех же нечеловеческих, архинормальных условиях существования, вместе с ними и страстно мечтали о воле. В этих мечтах о воле, в стремлениях вырваться из тюрьмы во что бы то ни стало, а иногда даже с риском для жизни, грань глубокого различия между уголовными и политическими стиралась.

Политических каторжан в Бутырской тюрьме и в больнице тюремной 3 марта уже не было ни одного.

В тот же день я встретил на улице одного уголовного каторжанина Тарасевича, имевшего двадцать лет каторги.

Это был молодой парень, лет 20—22-х, здоровый, человек с большой силой воли, красивый, умный, способный, с незаконченным средним образованием. У него была любовь к книге и к учению; во всем своем нравственном облике он резко отличался от обычных типов уголовных; месяцев десять он просидел со мной в одной камере, и я мог его наблюдать. Он часто спрашивал моего совета, что ему читать, делился со мною по прочитанному. Попал он на каторгу за ограбление, совершонное молодыми парнями в годы, когда еще были живы отзвуки экспроприаторской эпидемии 1907—1909 гг.

В тюрьме, не выдывая себя за «политика», он ближе держался к политикам, чем к уголовным.

Увидя меня, он вздрогнул, но скрыться не мог. Подойдя ко мне, поздоровавшись и рассказав, как он ушел из тюрьмы в общей суматохе, когда Колченко открыл камеры, Тарасевич умолял меня не выдавать

его. Он понимал, что его могут арестовать и вернуть в тюрьму.

— Ведь вы же знаете, что я по молодости попал на каторгу, что теперь я таких вещей не повторю. Не мешайте мне начать жить по-новому и стать полезным человеком, — говорил он, заглядывая мне в глаза, желая угадать заранее, как я буду действовать.

В отношении Тарасевича я не колебался. Но я не знаю, как бы я поступил в другом случае, если бы меня так же умолял, как он, другой уголовный — отъявленный вор и убийца. Так были живы еще тюремные переживания, что я, пожалуй, не мог бы пойти и сказать: «Вот убежавший уголовный каторжанин, задержите его и верните в тюрьму».

Я пожал Тарасевичу руку, сказав:

— Иди, не мне тебя возвращать туда, откуда меня вчера революция освободила. Но смотри: ты молод, здоров, не глуп, ты уже разбираешься во многих сложных вопросах общественной жизни. Совместное пребывание с нами, политическими, на каторге даром для тебя не прошло. Ты можешь стать человеком, если захочешь. В противном случае, смотри, — революция не шутит, когда ей создают помехи на ее пути.

Мы расстались, и больше за все эти годы революции я его не встречал. Хочется думать, что этот Тарасевич стал хорошим и полезным для нового общества, для новой жизни человеком.

В конторе тюрьмы мне передали тогда же почтовую повестку на мое имя на полученную из-за границы посылку книг. Из намеков в письмах, которые получал еще в тюрьме, я с нетерпением ждал эти книги, зная, что в одной из них должно что-то быть: нелегальная литература и политические и партийные новости.

На почте я книги получил в тот же день. В переплете одной книги оказался хорошо заделанным номер «Социал-демократа».

Обычно, когда получалась такая драгоценная редкость, мы на нее набрасывались как голодные, прочитывали от первых букв до последней. На этот раз ни я, ни товарищи, которым я давал этот номер «Социал-демократа», не читали его. Его слегка просматривали и возвращали мне. Все, что в этом номере было, казалось очень-очень старым и очень бледным по сравнению с теми событиями, которые в те дни в стране совершались.

Дней через десять, перед своим отъездом из Москвы, я снова пошел в тюремную контору за получением оставшихся там денег и вещей. В особенности мне хотелось получить большую пачку накопившихся в цейхгаузе писем, этой своеобразной хроники проведенных в тюрьме шести лет жизни.

В тюрьме внешне царил уже обычный порядок, надзиратели и солдаты конвойной команды были на своих местах: как-будто ничего не изменилось. Однако на лицах всех их был отпечаток того нового, которое говорило, что тюрьма с ее установившимися порядками не прочна. Сегодня ты арестант, и я тебя запираю и стерегу, а завтра все может перемениться: я буду сидеть, а ты меня будешь запирать и стеречь. Здесь даже больше, чем в каком-либо другом месте, чувствовалась та неустойчивость общественного порядка, которая создается в моменты революций, когда все старое ломается и сносится общим потоком восстания и возмущения угнетенных и порабощенных.

За эти десять дней новое положение в стране, созданное первой победой революции, настолько окрепло, что, уходя из тюрьмы, я почувствовал, что сюда больше в качестве заключенного не вернусь никогда, что если уже вернусь сюда, то только в качестве представителя революционной власти.

Да, через год и десять месяцев, в декабре 1918 г., я действительно пришел в ту же Бутырскую тюрьму, но

уже как председатель МЧК, по поручению ВЧК, в ведении которой тюрьма находилась, во главе комиссии по ускорению разбора накопившихся дел за время, прошедшее после покушения на В. И. Ленина.

И бывают же в жизни странные совпадения, иной раз как в сказке: в первой же камере, в которую я зашел тогда (декабрь 1918 года), в 12-ю камеру 14-го коридора, я встретил среди арестованных бывшего товарища прокурора московской судебной палаты Галиновского, того самого прокурора, который шесть лет тому назад, в декабре 1912 года, обвинял меня перед московской судебной палатой и добился осуждения меня по 102 ст. угол. ул. на 6 лет каторги.

Встреча была не из приятных. Галиновский, узнав меня так же, как и я его, просил меня вызвать его в коридор для личных переговоров. В коридоре этот прекрасно говоривший прокурор, обладавший ораторским талантом, когда обвинял нас в царском суде, теперь, заплетающимся языком и заикаясь, стал мне доказывать, что он вовсе меня не обвинял, скорее даже защищал Галиновский пытался меня уверить, что в том суровом приговоре, который был мне вынесен, виноват был состав суда, главным образом председатель его, Шадурский, но ни в какой степени не он, Галиновский; он же-де просто выполнял по долгу службы возложенную на него неприятную обязанность.

Даже такой интеллигентный слуга царизма, как прокурор Галиновский, оказался жалким трусом. Мы, будучи в их власти, не так себя держали, мы их и тогда презирали.

В тот же день, 3 марта, в Комитете помощи политическим освобожденным, помещавшемся на Воздвиженке, в клубе охотников (во дворе, где сейчас Кремлевская клиника), я встретил Зинаиду Павловну Кржижановскую, которую знал давно. Через нее я в

тот же день связался с Московским комитетом нашей партии.

МК осел тогда в Копцовском училище в Леонтьевском переулке. В МК я также встретил старых знакомых по подпольной партийной работе и по ссылке— тт. Землячку и А. А. Сольца. Тов. Землячка была, кажется, секретарем МК.

От нее я получил ряд партийных поручений.

Тов. Сольц, помню, налаживал издание и выпуск ежедневной газеты МК «Социал-демократ».

В первые же дни пришлось и на воле встретиться с оборончеством, к сожалению, среди товарищей, у которых я меньше всего его ожидал встретить.

В Копцовском училище 4 или 5 марта я встретил Ст. Вольского (Соколова), которого знал как большевика по 1905 году в Москве и как «впередовца» по эмиграции в 1909—1911 гг. Поскольку я его встретил в помещении Московского комитета нашей партии, я полагал, что Вольский по вопросу об отношении к империалистической войне с нами, большевиками. На самом деле Вольский оказался оборонцем. И на воле оказалось, что все те, которые до войны, во время реакции, критиковали нас, большевиков, слева и справа, ликвидаторы и «впередовцы», во время войны оказались в одном оборонческом лагере: война ускорила их скатывание к контрреволюции и их сближение между собой.

Заговорив тепло и дружески со мною и другими товарищами из старых большевиков, случайно находившимися в МК, Вольский позвал нас в отдельную комнату, сказав, что ему нужно с нами поговорить конфиденциально. Вольский был в военной форме, кажется в форме вольноопределяющегося или в офицерской (точно не помню), и я думал, что он хочет предложить нам вести партийную работу в военных частях. Однако с первых же слов выяснилось, что Вольский — ярый

оборонец и хотел нас убеждать в необходимости обороны страны против Германии, в опасности для революции проведения крайне революционной политики.

— Сначала надо закончить войну почетным миром, а потом будем бороться за социализм в свободной стране, — сказал он.

Я не пытался даже спорить с ним, — раскланялся и ушел, что сделали и другие товарищи. Общего языка у нас с Вольским не оказалось.

ПЕРВЫЕ ДНИ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В МОСКВЕ

По энтузиазму, по глубине вовлечения в движение широких масс трудящихся, по их единодушию, с которым вышли они на улицу, по их боевому настроению — первые дни марта 1917 года Москва напоминала мне октябрьские дни 1905 года. Разница заключалась в том, что в октябре 1905 года инициатива в движении принадлежала Москве — всеобщая октябрьская забастовка 1905 года началась в Москве, что накладывало тогда на московское движение отпечаток ведущего центра, а теперь инициатива в движении принадлежала Петрограду. И массы в Москве особенно чутко прислушивались ко всему тому, что происходило в Петрограде.

27 февраля, рассказывали мне рабочие, в рабочих кварталах Москвы носились неопределенные слухи о том, что в Петрограде идут уличные бои, что к рабочим там начинают присоединяться и отдельные воинские части петроградского гарнизона. Эти слухи, понятно, волновали рабочие массы Москвы. За время войны столько накопилось недовольства в рабочем классе России, война принесла ему столько страданий, что нужен был лишь повод, чтобы движение стало всеобщим, единодушным и боевым.

К вечеру движение в Москве приняло такие размеры, что требовалось уже создание объединяющего разрозненные по районам выступления рабочих масс и руководящего всем движением боевого центра. И вечером того же 27 февраля Московское бюро ЦК нашей партии приняло решение о выпуске воззвания к московским рабочим с предложением немедленно приступить к выборам депутатов в Совет от заводов и фабрик.

В ночь на 28 февраля это воззвание было напечатано и распространено по рабочим кварталам.

На некоторых фабриках и заводах 28 февраля начались выборы в Московский совет рабочих депутатов.

В Москве, как и в Петрограде, единственной политической организацией, звавшей пролетариат в эти дни на улицу, на борьбу с царизмом и войной, а солдат присоединиться к борьбе пролетариата, — была Московская организация нашей партии.

Утром 28 февраля по Москве был еще расклеен приказ командующего войсками Московского военного округа генерала Мрозовского, в котором была угроза применения вооруженной военной силы против скопищ, нарушающих общественное спокойствие и порядок. В случае отказа толпы разойтись по первому требованию полиции, говорилось в приказе, войска будут действовать без всякого дальнейшего предупреждения. Благонамеренной части населения Москвы рекомендовалось в приказе даже из любопытства не присоединяться к незаконным сборищам во избежание нежелательных последствий.

Остатки этого приказа генерала Мрозовского я еще сам видел 1 и 2 марта на некоторых столбах, рядом со старыми афишами разных видов и цветов. Странно было видеть и читать эти оставшиеся случайно лохмотья вдребезги разбитого царизма.

Несмотря на этот последний грозный приказ слуг царя, 28 февраля движение усилилось и приняло характер стихийной всеобщей забастовки. Рабочие массы Москвы в этот день еще без армии вышли на улицу.

«В первый день, — пишет тов. Зимин (сб. «От Февраля к Октябрю», М. 1923 г., стр. 122), — когда движение вылилось наружу и толпы рабочих массами пошли к центру, полиция пыталась этому воспротивиться. По Садовому кольцу стояли патрули и пытались не пускать массы в центр города. Значительной части все же удалось прорваться, и большие массы народа скопились на бывшей Воскресенской площади у здания бывшей городской думы. Напротив, у Александровского сада, стояла конная жандармская часть, которая несколько раз, пока еще площадь не была совершенно полна народом, пыталась разогнать и проскакала карьером мимо толпы, не решаясь в нее врезаться. Кто-то попытался выкинуть красный флаг, но его жандармерия тотчас отняла.

Помню, как удивительно стойко стояла толпа, когда на нее скакали конные жандармы, и в этом спокойствии чувствовалась сила.

Народ все прибывал, прорывая расставленные заставы, и жандармы ушли от Александровского сада в манеж.

Наиболее активной части удалось проникнуть в здание думы, и там, в Большом зале, решено было создать Временный революционный комитет для руководства движением.

Комитет создался тут же из представителей рабочих организаций. Тут же части членов комитета было поручено написать воззвание. Одни остались на месте, остальные были командированы в казармы снимать солдат, так как от этого зависела судьба дальнейшего».

Узнав от большевистской ячейки военно-промыш-

ленного завода сведения, что в Петрограде началось восстание рабочих,—пишет тов. Цихон (сб. «От Февраля к Октябрю», М. 1923 г., стр. 174—180),—группа рабочих большевиков завода Гагенталь в Басманном районе, где работал тогда и тов. Цихон, сразу организовала на заводе летучий митинг. На этом митинге рабочие завода Гагенталь решили бросить работу и пойти «по всем ближайшим фабрикам» призывать «итти в центр, где разъясняют сейчас петроградские события». Долго упрашивать рабочих других фабрик бросить работу не пришлось. Уже к часу дня рабочие со всех окружающих фабрик были сняты и группами по 50 человек направлялись к центру. Однако у Красной площади они встретили конную жандармерию. Их оттиснули, но группами по 5—10 человек демонстрантам удалось пробраться на Воскресенскую площадь. Здесь они услышали от товарища, говорившего в рупор, что нужно главным образом направиться к казармам, при этом указывались районы и казармы, куда следовало итти в первую очередь.

Когда рабочие подошли к воротам Спасских казарм (у Сухаревой башни), раздался залп. Толпа отшатнулась в сторону, но затем снова энергично двинулась к воротам, некоторые пробрались через забор и окна во двор казарм. Солдаты очень сочувственно разговаривали с рабочими и скоро открыли ворота; весь двор заполнился рабочими.

Офицеры долго не пускали рабочих в самые казармы, но рабочие сумели прорваться и туда; чувствуя надвигающуюся опасность для себя, офицерство трусливо говорило:

— Мы бы пошли с вами, но у нас военная дисциплина...

Солдаты, уже имевшие связи с рабочими, агитировали за совместное выступление с пролетариями. Эти

переговоры длились всю ночь с 5 часов вечера до 8 часов утра.

Тем временем все больше и больше рабочих проникало в казармы, и кое-кому из рабочих уже удалось вооружиться. К утру самые передовые части вышли на площадь.

Вся картина событий в Москве свидетельствует о том, что сила, размах и глубина движения с самого начала были настолько велики, что они сразу привели к полной дезорганизации, растерянности и, вследствие этого, нерешительности власти. В то же время массы проявляли исключительную стойкость, подлинную революционную, творческую инициативу.

Поскольку Москва выступила после одержанной в Петрограде победы, полицейские здесь не оказали того организованного вооруженного сопротивления, которое они оказывали в первые дни в Петрограде. Здесь они уже видели, что их дело проиграно, что режим, который они призваны были защищать, погиб безвозвратно. Этим объясняется и то, что в Москве не было также серьезных попыток использовать казачьи части или учебные команды против восставших. Поэтому в Москве почти не было жертв.

Вечером 28 февраля в Москве стало окончательно известно, что в Петрограде восставшие рабочие и присоединившиеся к ним солдаты победили, что старой власти не стало, что образован Временный комитет Государств. думы, являвшийся фактической властью в стране. Этот Временный комитет по телеграфу назначил уже комиссаром города Москвы городского голову и члена Государственной думы, кадета М. В. Челнокова.

К этому моменту в Москве из всех политических партий, лучше всего осведомленных и подготовленных к тому, чтобы воспользоваться результатами победы рабочих, были кадеты.

Совета рабочих депутатов вечером 28 февраля еще не было, и пролетарские организации, кадры которых были по тюрьмам и ссылке, были хуже осведомлены и меньше подготовлены к тому, чтобы закрепить организационно за пролетариатом результаты его победы в первые же дни революции.

Кадеты и все остальные элементы либеральной буржуазии поняли, что если завтра в Москве станут известными точно размеры одержанной в Петрограде победы восставшими рабочими и солдатами, трудящиеся Москвы выступят еще с большей силой, чем это было накануне, 28 февраля. Одержав победу над старым режимом и в Москве, трудящиеся смогут образовать здесь свой, действительно революционный орган власти. По опыту 1905 года, таким революционным органом власти был бы, без сомнения, Совет рабочих депутатов. Поэтому кадеты спешили поставить будущий Совет перед совершившимся фактом захвата власти ими, пока рабочие еще не успели привлечь на свою сторону весь московский гарнизон.

В ночь с 28 февраля на 1 марта шли «совещания между представителями демократических и общественных организаций», сообщает газета «День». Понятно, что в этих совещаниях преобладающую роль играли городская дума и кадетская организация Москвы в союзе с октябристами, сторонниками Гучковых.

В результате этих совещаний к утру 1 марта сорганизовался «Временный общественный комитет города Москвы» в составе 150 человек. Этот комитет выделил из своего состава «Исполнительную комиссию» во главе с правым кадетом Н. М. Кишкиным.

Этот кадетский исполком, взяв на себя «задачу организации нового порядка», назначил «председателя Москвы» в составе 150 человек. Этот комитет выделил А. Е. Грузинова, командующим войсками города Москвы».

«2 марта полковник Грузинов назначил московским градоначальником члена Совета «Земгора» С. М. Леонтьева». («День» № 1, 5/III 1917 г.).

Если в Петрограде у большинства представителей буржуазии — у кадетов и у прогрессивного блока Госуд. думы — в первые дни революции была растерянность и вместе с тем надежда на победу в конечном счете монархии и ставки; если в Петрограде Родзянко целыми днями сносился со ставкой по прямому проводу и настаивал на принятии экстренных мер, как сообщает об этом Шульгин (В. Шульгин, «Дни»), то в Москве представители буржуазии быстро учли петроградский опыт: здесь самые умные представители буржуазии, кадеты, поспешили захватить власть до всеобщего выступления московского пролетариата и гарнизона Москвы.

Нарастание событий в Москве в течение всего 28 февраля предопределило в значительной степени полный успех движения следующего дня — 1 марта.

Если 28 февраля выступали одни рабочие, если в течение этого дня они, овладев фактически центром города, направили свои отряды в казармы для мирного завоевания солдатской массы, если в некоторых казармах всю ночь с 28 февраля на 1 марта шла «борьба» за армию, — то 1 марта вместе с рабочими выступили и солдаты.

«Когда мы в этот день пришли на Красную площадь,— пишет тов. Цихон, — все было заполнено народом... Солдатские части стояли все время». (Сб. «От Февраля к Октябрю»). Поздно вечером 1 марта в Москве не было уже ни одной воинской части, не присоединившейся к восставшим, — пишет «День» (№ 1 5 III 1917 г.). Ни полиции ни конной жандармерии больше не было видно нигде.

Московский комитет нашей партии 1 марта выпустил следующее воззвание:

«Товарищи! Революция в разгаре. В Петрограде восстание победило. Выборгская тюрьма и Петропавловская крепость захвачены; из них освобождены борцы за народное дело. Армия присоединилась к народу. Поднялась Москва. Началась всеобщая забастовка. Демонстрации и митинги идут по всей Москве. Солдаты уже переходят на сторону народа. Временный революционный комитет заседает в городской думе под охраной полков.

«Необходимо создать учреждение, которое возьмет управление Москвой в свои руки. Надо немедленно избрать Совет рабочих депутатов. Выборы уже начались. Надо проводить людей решительных, с революционным сознанием, с ясным пониманием великих задач рабочего класса. Надо выбирать людей, которые не будут прислужниками буржуазии. Надо выбирать товарищей, которые жизнь свою положат за прекращение теперешней ненужной народам войны и за восстановление Интернационала — великого международного братства рабочих».

Московский комитет уже учуял опасность для трудящихся в захвате власти кадетами и указывал в своем первом воззвании на роль Совета и кого в него надо выбирать.

Характерной чертой массового движения и в Москве в дни 27 февраля — 1 марта является то, что оно было исключительно рабоче-солдатским. Несмотря на победу революции в Петрограде, на образование Комитета Государственной думы, на назначение Государственной думой комиссара города Москвы, на образование в Москве Общественного комитета во главе с Кишкиным, офицерство попряталось, а другие «благонамеренные» слои населения, в том числе и интеллигенция, в массе своей заняли выжидательную позицию, а некоторые из них со страхом смотрели на вздыбившееся

море «серой солдатни», предводимой «чумазыми рабочими».

К вечеру 1 марта рабочими и солдатами по собственной инициативе, без распоряжения Общественного комитета, были арестованы: командующий войсками Московского военного округа генерал Мрозовский, московский градоначальник В. Н. Шебеко, московский губернатор граф Н. А. Татищев, два помощника градоначальника: Тимофеев и Казанский, начальник охранного отделения полк. Мартынов, начальники жандармских отделений на вокзалах, друг Распутина, оказавшийся в Москве, князь М. М. Андронников и до 1 000 человек чинов полиции и среди них пристав Строев, отличавшийся своими зверствами. К вечеру также были освобождены из тюрем политические заключенные. Массы действовали энергично и организованно.

Руководитель черносотенного московского отдела «Союза русского народа» Орлов пытался 2 марта организовать погром. Сторонникам Орлова даже удалось 2-го числа на 1 час захватить вокзал Александровской жел. дороги и арестовать начальника этой станции и его помощников. Но эти действия черной сотни были настолько ничтожны по сравнению с движением масс, что они прошли совершенно незамеченными.

2 марта по улицам Москвы было уже расклеено воззвание Грузинова, в котором говорилось: «Граждане и солдаты! Дело сделано. Переворот совершился. Дело каждого — вернуться к своей работе. Победа требует от нас порядка. Скопища на улицах мешают работе. Кто останется в толпе, тот сознательный враг родины».

От новой кадетской власти послышался первый грозный окрик: «Рабочие и солдаты по своим местам!» Ослушников уже заранее называли сознательными врагами родины, с которыми, само собою подразумевалось, надо бороться соответствующими мерами, вы-

текающими из военной обстановки. Кадетская контрреволюция выявилась буквально на второй день Февральской революции. Тогда, в самый разгар революционной бури, в первом упоении, без сомнения, серьезной победой над царизмом, массы не раскусили ее; эта кадетская контрреволюционная вылазка прошла даже незамеченной.

Московский комитет нашей партии 3 марта выпустил «Наказ избранным в Московский совет рабочих депутатов», в котором, как-будто в ответ на этот окрик, говорилось: «Народ проливал свою кровь в революционной борьбе не для того, чтобы заменить правительство Протопопова правительством Милюкова—Родзянко».

Наша Московская организация вышла из подполья в первые дни Февральской революции с очень незначительными кадрами. Но влияние ее на московский пролетариат и на значительные слои солдатской, по существу крестьянской массы уже тогда было преобладающим. Пробудившиеся к политической жизни десятки и сотни тысяч трудящихся требовали ответа на ряд сложных социальных и политических вопросов и проблем, поставленных в порядок дня революцией. Пролетарские районы и казармы Москвы превратились в бурлящие котлы. Везде были митинги, собрания, выборы депутатов в Советы, выборы комитетов, старост, уполномоченных, выборы командиров в частях, устранение нежелательных и т. д. Везде требовалось присутствие представителей нашей пролетарской партии, чтобы помочь массам сформулировать свои классовые требования и задачи, задачи рабочего класса и беднейшего крестьянства в тот момент, задачи борьбы с войной и за мир, за конфискацию помещичьих земель и задачи борьбы с хозяйственной разрухой путем организации рабочего контроля над производством.

Несмотря на то, что из тюрем, в частности из Бу-

тырской каторги, вышла значительная и солидная группа большевиков, как тт. Дзержинский, Рудзутак, Фигатнер, Ф. Килевиц и др., это была капля в море по сравнению с колоссальной потребностью в силах и работниках.

В течение первых 10—15 дней марта, которые я провел тогда в Москве, по поручению Московского к-та нашей партии я побывал почти во всех районах Москвы. В этих районах всколыхнувшиеся пролетарские массы бурлили через край несмотря на начальнический кадетский окрик и на усиленные призывы к успокоению со стороны «социалистов»-оборонцев. Массы были полны революционной энергии и революционного организаторского творчества, выдвигая новые силы

«Районные организации партии растут в дни революции не по дням, а по часам. Организованные рабочие не довольствуются организациями по районам, они организуют партийные ячейки по подрайонам и по заводам.

«Сейчас момент таков, что рабочим не сидится в клубах — их тянет на улицу. На ту улицу, где они завоевали себе свободу и на которую они тем самым завоевали себе полное право. Но рабочие — это не праздношатаи». «Рабочие собираются и оживленно обсуждают последние новости, в каждый отдельный момент столь жгуче-новые, а через час... на смену им появляются более новые, более жгучие», — писала «Правда».

В рабочей массе Москвы политические вопросы общегосударственной жизни переплетались с насущными экономическими требованиями сегодняшнего дня. И это понятно. Выступив на борьбу с царизмом, вооружившись захваченным оружием, получив поддержку со стороны солдатской массы, пролетариат не мог ограничиться одним свержением царизма. Условия жизни

и условия труда были тяжелы вообще, а в условиях времени они бесконечно ухудшились и продолжали ухудшаться. И политическая забастовка, первоначальной целью которой было восстание против царизма, сама собою перешла в экономическую забастовку. Почти во всех районах и на всех предприятиях Москвы рабочими предъявлялся длинный ряд насущнейших экономических требований; развернулась также борьба за 8-часовой рабочий день.

Московский пролетариат не хотел вернуться к станкам без реальных серьезных не только политических, но и экономических завоеваний. По всему было видно, что борьба только начинается, ибо пролетариат встретил бешеное сопротивление со стороны московских предпринимателей и оборонцев.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Из тюремных настроений перед Февралем 1917 г.	3
Последний день и вечер на каторге. Освобождение восставшими	18
Первые дни на свободе	36
Первые дни Февральской революции в Москве .	43

Цена 40 коп.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

Магазину издательства политкаторжан

Москва, центр, Петровка, 7, телефон 4-18-12 и 3-63-20